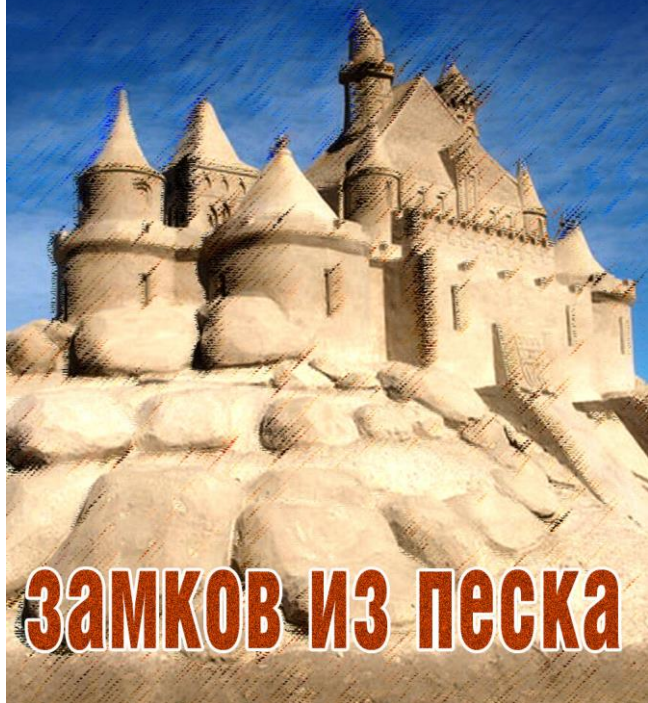


Семен Каминский



Учебное пособие *по строительству*



Замков из песка

«Учебное пособие по строительству замков из песка» — это сборник блестящих рассказов современного прозаика Семена Каминского, выдержанных в лучших традициях юмористической и при этом слегка ностальгической новеллистики, грустной и веселой одновременно.

Чего только не приходится делать нашим людям, живущим в далекой Америке, чтобы обеспечить себе хлеб насущный. Иногда дело доходит до совсем курьезных случаев — создания учебных пособий по строительству замков из песка...

Жизнь эмигрантов на страницах этой книги делится на «до» и «после» отъезда. Однако каждая половина жизни включает в себя неоценимый опыт, незабываемые встречи и просто добрую память.

Семен Каминский

Учебное пособие по строительству замков из песка

Заноза

Хотя мне ещё не очень много лет, иногда, вспоминая какое-то событие или место, я вдруг с удивлением и некоторым смятением понимаю, что некоторых из тех, кто был со мной *там*, уже нет в живых... А те, кто есть, — где они? Где те, кто делил, играя «в ножичка», очерченный кругом кусочек грязной земли старого двора? Ел восхитительную, коричневую со светлыми выпуклостями орехов трубочку мороженого, купленную в «стекляшке» на углу за целых 28 копеек? Дышал рядом в невыносимо потной тесноте июльского трамвая по дороге в провинциальный Дворец культуры, куда «Поющие гитары» привезли на один вечер рок-оперу «Орфей и Эвридика»?

Я не знаю. Попытки описать что-то такое, живущее теперь только в моей голове — жене, детям, новым друзьям — совершенно бессмысленны. Им просто становится скучно. И я вполне понимаю, почему: нет у меня таких слов, чтобы описать воспоминание, имеющее некий

чёткий смысл для меня, но для всех остальных — совсем незначительное. Неброское. Неяркое. Банальное...

Как передать, например, тягучий сонный летний мир морской слободки старого приморского городка, куда родители много раз привозили нас на лето? Мир, в котором остался запах высохшей морской травы, набитой в хрустящие матрасы. Вкус манной каши с большим куском сливочного масла — это мама подала нам завтрак в круглой беседке, сбитой из деревянных планочек во дворе дома, где мы остановились. Длинный огород, выходящий прямо к морю. Большущий паук с крестом на спине, в паутине, под потолком этой беседки (раньше никогда не приходилось видеть такого!). И тяжёлое солнце, долгими июльскими днями настойчиво давящее курортников к горячему мелкому пляжному песку...

А потом, уже в другой, более поздний приезд: босые, крепко загоревшие ноги и лёгонькие светлые волосы абсолютно недоступной девчонки — соседки наших хозяев. Наверно, ровесница... Совершенно немислимо даже заговорить с ней. Даже подумать о том, чтобы заговорить с ней...

И как передашь тревожное ощущение своих четырнадцати лет?

Каждое пляжное утро отдыхающие начинали

с ритуала сооружения личного шалаша. Все приходили со связкой четырёх аккуратно обструганных палок, которые вбивались в песок, и на них старательно привязывался тент из полосатых простыней. Не помню, возможно, родители послали меня к Лёшкиному шалашу одолжить на пару минут нужный камень для забивания палок? Или Лёшка подошёл посмотреть, как мы с отцом играем под нашим тентом в шахматы на старой, немного примятой картонной доске? А может, наш бадминтонный воланчик упал на их подстилку? Помню только, что, познакомившись, мы сразу и накрепко прилипли друг к другу, счастливые оттого, что здесь наконец-то нашёлся человек, с которым будет совсем не скучно делить размеренное летопровождение. Оказалось, что у нас похоже всё: возраст, любимые Стругацкие и Рей Брэдбери, преподавательские профессии родителей, небольшие квартиры в центре больших соседних промышленных городов, количество братьев и сестёр.

А улыбка у него была такая: вроде бы человек долго-долго ждал чего-то, почти не надеялся найти и вдруг нашёл... и улыбнулся.

Как здорово теперь было вместе часами болтаться в мелкой, совершенно спокойной и почти не отличимой от температуры тела морской водичке! А вечером в десятый раз смотреть в

душном местном клубе «300 спартанцев» и «Парижские тайны». И секретно обсуждать ту самую соседскую девчонку, к которой никому из нас никак не подойти...

Впрочем, с девчонкой всё решилось просто. Во время нашего вечернего променада по морской слободке один из знакомых «пляжных» мальчишек вдруг подвёл её к нам со словами: «Это — Ирка, она тут хотела с вами познакомиться». Ирка оказалась приветливой простушкой, много и безостановочно тарыхтела, и стало понятно, что нам с ней совсем неинтересно.

Однажды Лёшка сильно занозил на пляже ногу — видно, на какую-то щепку наступил. Он долго и тщательно вытаскивал непослушную занозу из ноги, потом сообщил, что срочно идёт домой — обработать ранку. А в ответ на мои умненькие ироничные замечания по этому поводу заявил:

— Отец Маяковского, между прочим, умер оттого, что укололся булавкой, сшивая бумаги... А был крепким человеком, лесником, ходил на медведя в одиночку... Понял?

...Потом мы уезжали домой — в наши разные города, и ещё одно детское летнее знакомство грустно подходило к концу. Мы решили, как это обычно бывает, обменяться адресами и стали записывать их друг другу на клочках какой-то бумаги. Я очень стеснялся своей фамилии,

однозначно и бесповоротно открывающей мою принадлежность к «некоренной» национальности. К той самой, которой вроде бы и не существовало в нашей большой советской стране. Но делать было нечего, и я, с чувством падения в пропасть, отдал ему свою бумажку... О, счастье! Совершенно ненашенское окончание «штейн» моей злополучной фамилии вполне соответствовало его «ман»... похоже, мы были одного поля ягоды!

Мне лет пять. Я гуляю с бабушкой по улице Ленина, недалеко от старого трёхэтажного дома, где мы тогда жили. Проезжают редкие машины (и это одна из ближайших к центру улиц большого города — сейчас на этом месте просто постоянный затор). Медленно плетётся вверх по улице телега старьёвщика. Старенькая лошадь тянет, старается, периодически оставляет на дороге пахучие кучки — метит свой нелёгкий путь. Старьёвщик — лето, а он в телогрейке — придерживает на коленях вожжи и хитровато посматривает по сторонам. Во рту у него белая свистулька от воздушного шарика, время от времени она издаёт зудящий пронзительный звук.

Толстенные дубы вдоль тротуаров, незаасфальтированные круги серой земли вокруг каждого дерева. Мне всё интересно, и я подолгу разглядываю гигантские корни, уходящие в землю. Мне легко это делать не наклоняясь, потому что я

маленький, земля ко мне близко.

Из-под арки дома выскакивают несколько мальчишек постарше — наши соседи по двору. Чумазые, воют, чем-то бросаются. Баба Люба недовольно поглядывает на них.

— Почему они такие грязные? — спрашиваю я.

— Русские дети... — она поджимает губы.

Я не понимаю её ответа и, поразмыслив, через какое-то время спрашиваю:

— Это... как?

— Русские, — повторяет баба Люба. Видимо, мне всё уже должно быть ясно, но я по-прежнему не понимаю, что она хочет этим сказать.

— А мы кто?

— А мы — евреи.

Я больше ничего не спрашиваю.

Мне уже не до вопросов и не до этих мальчишек.

Я потрясён.

Осенью меня, «домашнего мальчика», почему-то решают «устроить» в детсад. Я покорно иду туда с мамой. Прихожая, одинаковые шкафчики, на дверцах которых намалёваны небольшие цветные картинки. «Этот шкафчик с арбузом — твой», — как-то чересчур радостно и настойчиво говорят мне, и уже сразу хочется

домой. Это желание еще больше усиливается от ненавистного мне запаха и вкуса сладких макарон с молоком.

После трёх дней посещения этого заведения бабушка и мама застают меня дома, бегущим и прыгающим по дивану с громкой задорной присказкой, смысла которой я не понимаю, но которая нравится мне незнакомым жужжащим словом:

Жид, жид, жид
По верёвочке бежит!

И так — раз сто.

Я слышу, как бабушка твёрдо говорит маме:

— Чтоб я про этот детский сад больше не слышала!

Моё знакомство с детским садом благополучно заканчивается. Навсегда.

Мне — двенадцать лет. Я иду записываться в районную детскую библиотеку имени М. Светлова — это недалеко от дома, только проспект перейти. Читать я люблю, дома все книжки уже перечитаны по много раз, у знакомых и друзей — тоже. В маленькой библиотеке, которая расположена в полуподвале белой кирпичной пятиэтажки, всё время очередь. Наконец немолодая библиотекарьша

за стойкой начинает заполнять на меня формуляр:

— Имя?

Я достаточно громко говорю ей свое имя.

— Фамилия?

Я говорю фамилию. Тише.

— Национальность?

По-моему, меня с интересом слушает вся очередь. Я невольно еще понижаю голос...

Спустя какое-то время отец высмеивает меня:

— Моя знакомая, Полина Давидовна Натансон, которая работает в детской библиотеке, рассказала мне, что ты стеснялся назвать свою национальность, когда пришёл записываться?

Много лет мы с Лёшкой регулярно писали друг другу пухлые письма. В них было всё: и жизнь, и стихи, и наши неразделённые влюблённости. Ездили друг к другу на каникулы, по очереди нетерпеливо просиживая тяжкие четыре часа в духоте общего вагона. Щенячья радость встреч, долгие-долгие ночные разговоры... о чём-то важном... бог знает о чём... запах бобинной «Дайны», разогретой от многочасового проигрывания «Beatles For Sale»:

This happened once before,
When I came to your door,
No reply...

С горем пополам мы учили в школе английский и почти не понимали, что они поют, эти удивительные парни. Только отдельные фразы... «No reply» — нет ответа... Нет ответа.

И опять лето, мы — студенты второго курса. Еле-еле я «добил» свою вторую экзаменационную сессию. В этот раз Лёшка приезжает ко мне. Я почти не сплю несколько ночей перед его приездом. За полтора часа до поезда прихожу на вокзал, до которого мне от дома — рукой подать. Слоняюсь по влажному от короткого летнего дождя перрону, подгоняю взглядом чёрные ажурные стрелки старых вокзальных часов. Наконец на вокзал неспешно вползает голубой фирменный поезд из его города.

Мы говорим, говорим не умолкая. Основная тема, по-прежнему, — «о них»: он, конечно, завидует — у меня уже есть девушка, и я, чувствуя себя солиднее и удачливее, задираю свой большой нос. А у него, такого красавчика, так ничего и не клеится: слишком много сомнений, рассуждений, слишком мало напора. Девчонки с ним дружат, гуляют — и выходят замуж за других.

В одной из своих прогулок мы оказываемся на берегу Днепра. Лёшка стоит спиной к реке, опираясь на светло-серый гранитный парапет,

молчит, а я что-то оживленно рассказываю и рассказываю, стоя перед ним: продолжаю, честно говоря, здорово хвастать. Вдруг кто-то сильно толкает меня сзади, да так, что я почти падаю на Лёшку.

Это — местные «пацаны». Самого крепкого из них я припоминаю — Тарас или Стас — из того дома, где живёт моя девчонка.

— Ты! — начинает он и всё остальное добавляет «матюгами». — Чтоб я тебя... с Люськой больше у нас во дворе не видел, понял?

Я понял: их — пятеро. И сам — не герой, и втягивать Лёшку в эти разборки не хочу. Когда они уходят, я уже совсем не чувствую себя перед ним героем-любовником и замолкаю. А Лёшка, наконец, потихоньку начинает рассказывать о себе. О прочитанных книгах, о Тарковском, фильмы которого, особенно «Андрея Рублёва», он обожает, о живописи...

В двадцать лет, во время студенческого туристического похода на лодках по рекам Алтайского края, Лёшка неожиданно заболел тяжёлой почечной болезнью. Товарищи подумали, что его сильно покусали комары, и всё время шутили по этому поводу. Правда обнаружилась уже дома.

Я приезжал к нему, ходил в больницу, откуда

его почти не выпускали. Было страшно видеть его тонкое лицо до неузнаваемости отёкшим, похожей оставалась только улыбка. Похожей...

Кто-то знакомый с медициной сказал мне: «Он не протянет больше трёх лет...». Я очень разозлился на говорившего — как он осмелился такое...?! Да этого просто быть не может!

Ни заботливые родители, ни хорошие врачи, ни лучшие в то время лекарства не смогли спасти Лёшку. Он провалялся в разных больницах своего города чуть больше года — диализ, диализ... опять диализ! — потом родители решились перевезти его в Москву. Он умер осенью в Склифе.

В одном из последних писем Лёшка с обычным юмором описывал свои приключения в больнице перед отъездом в Москву. Оказывается, там он умудрился познакомиться с красивой девчонкой лет восемнадцати. Её не смутила его болезнь, его вид тяжёлого почечного больного... Её звали Ирой. Она лежала в каком-то другом отделении, кажется, ей вырезали железы, и вскоре выписали, но она продолжала каждый день навещать его.

К концу тон письма неожиданно менялся:

«Ты знаешь, это всё-таки произошло. В пустом актовом зале. Это так здорово».

Я прилетел в его город, такой знакомый город,

и в этот же вечер мы — друзья и какие-то незнакомые мне люди (оказалось, что сотрудники института, где преподавал Лёшкин отец) — встречали самолёт из Москвы. Вышли родители — тихие, очень уставшие. Все стояли кучкой посреди зала, долго чего-то ждали, негромко переговариваясь. Не сразу я понял, что ждут, когда из самолёта выгрузят гроб — цинковый гроб со стеклянным окошечком на крышке. Я заглянул в окошечко — там был мороз, чужой желтоватый высокий лоб и чёрные волосы, почему-то зачёсанные назад. Мы помогли внести его в какой-то микроавтобус, а дома — поднять по лестницам в квартиру. Поставили на столе в гостиной. Вместе с родителями нас осталось всего несколько человек — самые близкие. Стали отпаивать крышку разогретым утюгом.

— Нужно переодеть... рубашку и костюм, — сказала Лёшкина мама, — помогите, пожалуйста, приподнять.

— Очень тяжёлый, — сказал отец.

Мы переодевали Лёшку — ничего страшнее в моей жизни никогда не было. Дай бог, не будет. Говорили по-прежнему тихо, междометиями.

— Какой же ты холодненький, Лёшенька! — вдруг зашлась в крике мама...

Утро похорон было дождливое. Во дворе большой сталинки собралась толпа, высокий

Лёшкин папа, сгорбившись, косо держал над гробом зонтик. Я обнаружил стоящую рядом со мной симпатичную заплаканную девушку и поймал себя на том, что разглядываю сбоку её лёгонькие светлые волосы, покрасневшие веки и пухлые губки... и немного улыбаюсь... Да как же я могу?! В такой момент! Я даже незаметно посмотрел по сторонам — не увидел ли кто эту ужасную мою улыбку? Преступную улыбку? Слава богу, вроде бы никто...

Нет старых дубов на улице Ленина, вместо них уже давно посадили молоденькие клёны. И клёны эти успели вырасти. И чтобы увидеть что-то на земле, мне нужно не просто наклониться — мне нужно стать на колени на эту землю. Впрочем, это уже совсем другая земля — далеко-далеко от старого дома (его снесли в девяностых), чумазных русских мальчишек, библиотеки имени М. Светлова и сладких макарон с молоком. Жена у меня — русская, сыновья не только говорят, но и думают по-английски, и никому нет особого дела до моей фамилии и национальности — да мало ли разных фамилий и национальностей на свете?

А я... мне ещё не очень много лет, но иногда, вспоминая какое-то событие или место, я вдруг с удивлением и некоторым смятением понимаю, что некоторых из тех, кто был со мной *там*, уже нет в

живых. Только саднит и саднит вросшая, назойливая заноза моей памяти. И уже никак эту занозу не вытащить — пока думается и помнится... Пока живой.

Два хобота

Играет лёгкая танцевальная музыка. Ну, допустим, оркестр Глена Миллера из американской кинокартины «Серенада солнечной долины». Или оркестр нашего Эдди Рознера.

Однажды летом, наверно, в воскресенье, маленького мальчика повели в зоопарк. Повели его мама и папа... Ага, раз с ними был папа — это точно было воскресенье. Начну сначала.

Однажды летним, солнечным, но не жарким воскресеньем мама и папа повели маленького мальчика в зоопарк. Мама нарядилась в чёрное шёлковое платье в крупный белый горошек, на котором красовалась стеклянная брошка в виде стрекозы, и соломенную шляпку — так тогда было модно. А папа... Впрочем, какое имеет значение, в чем был папа?

В зоопарке самым главным зрелищем считался африканский слон. Очень пожилой, но всё-таки слон. Каждый день такого у себя во дворе не увидишь. И вообще во дворе не увидишь. А в те времена даже по телевизору — редко. И телевизор

был не у всех. Толпа перед загоном слона стояла большая-пребольшая, но маленьких детей с родителями пропускали вперед. День выдался, как я уже отметил, солнечный и нежаркий, по радио в зоопарке транслировали вот эту самую лёгкую музыку, мороженое и газированную воду продавали во всех киосках, так что посетители вели себя почти вежливо.

Слон, как говорится, видал виды. Кожа у него была как огромная, серая, мятая промокашка, а многие части тела от долгой жизни сильно обвисли.

Мальчик внимательно рассматривал слона, стоя перед заборчиком и держа маму за руку, а потом, подняв голову, спросил:

— Мама, а почему у слона два хобота? Один — спереди, ещё один — сзади, и оба достают почти до земли...



Мама сильно смутилась от такого громкого и совершенно конкретного вопроса, тем более что она и сама заметила некоторые анатомические особенности старого африканца. Она в замешательстве оглянулась, чтобы поручить ответ папе, но папы рядом не оказалось. А окружающие люди, услышавшие вопрос юного натуралиста, с интересом смотрели на маму и ждали, что она ответит.

— Давай поищем нашего папу, — наконец нашла что сказать мама и решительно потащила сына сквозь толпу. — Сейчас нам папа всё объяснит!..

Но найти папу сразу не удалось, и мама чуть не оторвала мальчику руку в процессе быстрого передвижения по аллеям, посыпанным мелким хрустящим ракушечником. Папа обнаружился на белой скамейке, в некотором удалении от слона. Он сидел рядом с какой-то незнакомой тётей, и они ели пломбир. Причём тётя, видимо, была незнакомой только для мальчика, потому что папа с ней разговаривал очень оживлённо. Но, когда мама с мальчиком подошли поближе, папа не стал больше продолжать разговор, вскочил и направился к ним навстречу. А мама почему-то стала говорить с папой шипящим голосом, наверно, изображала змею, которую они перед этим видели в серпентарии. И рассказывала она ему совсем не про

слона, а про какую-то грязную свинью. И так всю дорогу домой. Мальчик хотел всё-таки выяснить подробности про слона, но мама с папой были так заняты обсуждением этой свиньи, что ему и слова вставить не дали.

А потом воскресенье закончилось.

И тут мы подходим к моменту, когда я должен сделать признание. Лёгкая танцевальная музыка обрывается... Тишина.

Этим мальчиком был я.

Но теперь я очень редко думаю о том, почему у старого слона было два хобота. Тут хотя бы с одним разобраться.

Папина любовь

Много было всего: разопрелого днепровского воздуха, громких прощаний, беспокойных дымных запахов, плеска мутноватой воды под трапом, колких отблесков на лицах от больших золотых букв «Матрос Вакуленчук», полукругом расположенных по борту теплохода. Мама стояла под крышей синего домика плавучей пристани, возле белых деревянных перил, и держала Юльку на руках. Юлька выворачивалась попкой, тянулась куда-то в сторону, а мама старалась повернуть её лицом к ним — посмотри, вон папа и Коля уезжают на пароходе, ту-ту-у... ну, посмотри, что ж ты

вертишься!

Они с папой на палубе — настоящие отъезжающие в далёкое и опасное путешествие (по морям, по волнам): папа — в широких светлых штанах, Колька — в шортах (многострадальные колени густо замазаны зелёнкой), папина рука лежит на Колькином плече. Немного снисходительные ко всем тем, кто остаётся на дебаркадере, и особенно к тем, кто дальше — там, на берегу, они стоят с лёгкой спокойной улыбкой...

Какое там — спокойной! У Кольки всё так и подскакивает внутри: сейчас теплоход отвалит от пристани родного города, и начнётся летнее отпускное путешествие с папой... Ну, не по морям, а по Днепру, не очень далёкое — до Херсона и назад, и не долгие годы пройдут до их триумфального возвращения, а три дня... но об этом совершенно незачем думать! Тем более что в это путешествие решено отправиться исключительно мужской компанией — Юлька ещё маленькая и недавно переболела воспалением лёгких, а значит, женщины, как положено, остаются на берегу...



Вот они уже и остаются! Гудок, ещё гудок... Кто-то, добавляя шума, неразборчиво кричит откуда-то сверху (капитан теплохода, в рупор?), толстый грязноватый канат с облегчением освобождён от потёртой железной катушки, и — поплыли... Отступили назад перила дебаркадера, мамины махи свободной рукой, название города над её головой, машины на набережной, толстый элеватор и причудливые пируэты портовых кранов... Плывём!

Потом началось неторопливое удовольствие обустройства в двухместной каюте. Разложили вещи, спрятали в утробу одной из коек клетчатый

матерчатый чемодан на молнии. Долго щёлкали разными кнопками от ламп, открывали и закрывали окно, выходящее на палубу первого класса. Так же, не спеша, отправились в ресторан, в конец длинного коридора, и их неясные отражения шли вместе с ними в тёмном полированном дереве многочисленных дверей. Колька на ходу рассматривал какие-то странные картинки, эмблемы и усердно читал инструкции в аккуратных рамках. Папа что-то спросил у официанта, выбрали столик, а затем, прямо из ресторана, вышли на открытую площадку кормы и постояли на тугом ветру, у флага — не могли оторвать взгляда от спешащей за теплоходом бесконечной струи... пока не появилась компания молодых людей с гитарой, которые, едва расположившись на шезлонгах, грянули нестройно, но рьяно:

У крокодила морда плоская,
У крокодила морда плоская,
У крокодила морда плоская,
Он не умеет целовать.
Его по морде били чайником,
Его по морде били чайником,
Его по морде били чайником,
Чтоб научился целовать.

После ужина они сразу же облазили весь

теплоход: спускались на нижние палубы, заглядывали в громкое, суетливое машинное отделение и в молчаливый парадный носовой салон, пустой, с зачехлёнными сероватой тканью диванами и роялем. А в сумерки даже постояли перед крутой лестницей на капитанский мостик, где из окон рубки падал на их поднятые вверх лица таинственный свет.

Самым же интересным оказался проход теплохода через шлюзы: все пассажиры при этом обязательно заполняли палубы, пристально рассматривая огромные — много выше их судна! — шлюзовые ворота в потёках склизких зеленоватых водорослей и густую некрасивую пену за бортом, слушали какие-то гудки, шумы и тарабарские переговоры.

Папа непрерывно что-то объяснял Кольке или увлечённо рассказывал о приключениях из своей молодости. Получалось, что детство и юность у него были довольно бесшабашные, и в это никак не верилось, глядя на теперешнего папу — в больших очках, полноватого, всегда такого аккуратного («пи-да-гог» — так говорила про него лучшая мамина подруга тётя Рая, медленно, с нажимом процеживая каждый слог сквозь испачканные красной помадой зубы).

— ...В коридоре нашей коммуналки было темно, особенно еслиходишь с улицы. Жил там у

нас Лёва Коган, погружённый всегда в какие-то свои мысли. И вот, на зимних каникулах, Лёва Коган, за целый день насмотревшись на зверей из заезжего зверинца, пробирается почти на ощупь к себе в комнату. А я поджидаю его в углу. Протягиваю руки с шапкой, ласково касаюсь мехом его лица и тихо говорю «р-р-ры»... Он визжит, отскакивает куда-то назад, падает на задницу в чьё-то помойное ведро и с новым воплем переворачивается на пол. Распахиваются двери, зажигают свет... Мой дядя Сева мгновенно всё понял и мне — бах!..

Бойкая компания с гитарой по-прежнему встречалась им в самых неожиданных местах теплохода, казалось, что, сидя кружком, они распевают одну и ту же задорную песню, аккомпанируя папиным историям:

У бегемота нету талии,
Он не умеет танцевать.

После чего неотвратимо следовало:

Его по морде били чайником,
Чтоб научился танцевать.

— ...Я подхожу к этому блаатыге Ромке, вот так вытаскиваю папиросу изо рта...

— А ты что — курил?!

— Ну да, немного... не в затяжку... просто модно было. В общем, я подхожу и говорю ему: «А пошёл ты знаешь куда!» Он остолбенел, а я с ходу ему — под дых... Он стал приседать на корточки, дышать не может, а я говорю, да чтобы я тебя больше никогда...

Заснул Колька внезапно, едва прилёг на минутку в каюте, не раздеваясь, под звуки ночного шлюзования. Спалось ему отлично, ничего не снилось, а утром он первым делом выскочил на палубу — что там нового, радостного и удивительного? Какие незнакомые города и пристани проплываем, чем гружены длиннющие встречные баржи, как называются и кого везут разнообразные катера и лодки?..

— Коля, — окликнул его папа. Он сидел с какой-то молодой женщиной. — Познакомься, Валентина Илларионовна... преподаватель музыки.

Колька изобразил воспитанного мальчика — подошёл, поздоровался, ответил на пару вопросов, чувствуя, что неинтересно не только ему — отвечать, но и этой... как её... Валентине Илларионовне — спрашивать. Она задавала их вкрадчивым, словно круглым голосом, и сама была круглолицая, в невесомом сиренево-цветочном платье, которое, как подумалось Кольке, неприлично облегало и местами как-то пропадало

на ней. А когда она посмотрела Кольке прямо в лицо, то глаза у неё оказались неожиданно прозрачные и холодные — вылитая Снежная королева, только летом.

— Я пойду... умоюсь, — заявил Колька и удрал в каюту.

Весь этот день они были с папой уже не одни. И на палубе, и в ресторане, и когда теплоход подолгу стоял возле очередного города и можно было пойти погулять по набережной, а иногда и по ближайшим улицам или паркам, с ними была Валентина. Она негромко, но значительно смеялась всем папиным шуткам, носила с собой журнал «Иностранная литература» и сладко пахла. Днём сидеть на палубе в шезлонге было жарко, её цветастое платье прилипало к ногам, она часто приподнимала его и даже слегка обмахивалась краешком подола. Папа по-прежнему не замолкал, но забавные пацаны из рассказов исчезли, теперь упоминались Суриков, Герасимов, Вертинский, Григ...

— Коля, ты бы пошёл познакомился вон с теми ребятами — по-моему, они твоего возраста, — периодически предлагал ему папа, прерывая беседу, но Колька никуда не отлучался, молча рисовал в тетрадке звездолёты или вертелся неподалеку, поглядывая то на воду, то на берег, то на Валентину.

Вечером, в носовом салоне, папа отвернул с рояля толстый чехол, и Валентина так долго и старательно играла, что вся её гладкая причёска растрепалась, и в салон стали заходить люди с прогулочной палубы, рассаживаться на диванах. Папа остался стоять, облокотившись на рояль, внимательным лицом — к Валентине, а Колька сидел с ногами в самом дальнем угловом кресле, скучал.

И ночью Валентина снилась Кольке. Там, во сне, ей вообще всё время было жарко, цветастое платье снова прилипало к ногам. Кольке, как воспитанному человеку, нельзя было туда смотреть, а так хотелось — пристально, не отрываясь. Он проснулся от необычно острого ощущения — влажный, и не только от пота. Сначала сильно испугался, а потом вспомнил, что по этому поводу говорили мальчишки: вот оно что-о... Какое-то время он не мог заснуть, не зная, что делать и как встать, чтобы убрать безобразие, не разбудив папу, однако провалился в новый крепкий сон — уже без Валентины.

Разбудили его вопли знакомой компании, с утра оказавшейся на палубе где-то рядом с их каютой:

А новичок — сопля зелёная,
Он не умеет страховать.

И дальше, конечно:

Его по морде били чайником,
Чтоб научился страховать.

Была жаркая середина дня, когда остановились в Каховке, и тщательно изученное настенное расписание поведало Кольке о стоянке в полтора часа. Как и другие пассажиры, они отправились гулять вдоль реки. Прошли мимо четырёх бабулек с вёдрами и кастрюлями, прикрытыми крышками или марлей, — продавали варёную кукурузу, домашние малосольные огурчики и что-то ещё. А на небольшом расстоянии от причала им вдруг открылся песчаный пляжик с кабинками для переодевания.

— Коль, — сказал папа, — искупнуться бы... Сбегай в каюту, возьми полотенца, подстилочку и плавки. А мы тут с Валею... с Валентиной Илларионовной тебя на скамеечке подождём.

Кольке отчаянно не хотелось оставлять их, но он понял, что сейчас возразить уже нечего, и, что-то буркнув, помчался на теплоход.

Дорожка... мостки... трап. Вот и лестница на верхнюю палубу. Коридор... ключ... каюта. Он дёрнул со спинки кровати плавки, перебросил через плечо полотенца — и в обратный путь, быстрее, быстрее...

Сбегая с пристани, Колька сильно споткнулся, пропахал голыми коленками по жёсткому шершавому дереву шатких, с широкими щелями мостков, по-дурацки клюнул носом вперёд, чуть ли не под ноги торгующим старушкам, а полотенца, плавки, кепка с головы — всё полетело прямо в серую пыль дорожки.

— Ой, сыночка, ну шо ж цэ ты так! — вскрикнула одна из старушек.

Колька ещё долго сидел на земле, пялился мокрыми глазами на свои расквашенные, в кусках старой зелёнки и пыли колени, а где-то неподалеку, — наверно, на том самом пляжике за дебаркадером, — опять били и били чайником по морде несчастного бегемота.

Как Владимир Семенович спасал нас

Конец шестидесятых. Длинные волосы, брюки из хлопка с лавсаном со строго измеряемым клёшем (25 сантиметров, не меньше!), семиструнные гитары и Высоцкий. Моя гитара (Черниговская музыкальная фабрика, 7 руб. 50 коп) достаётся мне по огромному благу («от дяди Иосифа»), она тяжёлая, тёмно-красная с жёлтым подпалом. Гриф ужасно неудобный, струны стоят высоко и прижимать их трудно, но неожиданно оказывается, что его можно поднять повыше просто с помощью

ключа от больших чёрных часов, стоящих на секретере в гостиной. Вместо обычных металлических струн вскоре удаётся раздобыть нейлоновые — это тоже большой дефицит. Я холью гитару — зачем-то натираю вязкой, крепко пахнущей полиролью для дерева, найденной у мамы в кладовке, борясь таким образом с существующими и несуществующими царапинами на её прекрасных боках. Я не расстаюсь с ней почти никогда, даже таскаю за собой в школу, но не днём, а на внеклассные посиделки. Уже выучены пять «главных» аккордов — «звёздочек» в ре-миноре и несколько вариантов «боя» правой рукой. Высоцкий с бобин заучен в страшном количестве, песен двести, не меньше. Всем нравится, и я всегда и везде в центре внимания, причём взрослые, на удивление, принимают такое пение с не меньшим энтузиазмом, чем мои ровесники. Это внимание окружающих к себе сильнее и приятнее даже портвейна и сигарет, уже неоднократно опробованных, поэтому дурные привычки совершенно ко мне не прилипают. Только шальные песни, жёсткие мозоли на пальцах, хрипловатый, иногда действительно немного сорванный голос — знаете, под кого.

Осень, везде на улицах города — плакаты «Всесоюзная перепись населения», а мы каждый вечер бродим с гитарой и моим другом Витькой из

соседнего двора по этим улицам, скверам и набережной Днепра. Я умудряюсь орать песни даже на ходу, он совершенно не умеет играть, но что-то восторженно подпевает. И — ощущение постоянно приподнятого настроения...

Однажды мы сидим с ним на скамейке, среди ивняка, в глубине широкой зелёной посадки на набережной. Скамейка эта должна была чинно стоять на аллее перед речным парапетом, но кто-то её сюда, в укромное место, до нас перетащил, и постаралась, видимо, большая компания: скамейка тяжёлая, деревянная, белая с чёрными изогнутыми чугунными ножками и такими же боковыми опорами. Почти стемнело, и нас накрывают уютные тени, а перед нами у реки — неяркий голубоватый свет редких высоких фонарей на бетонных столбах. Я что-то наигрываю.

Неожиданно из-за деревьев выходит группа крепких парней, гораздо старше нас, блатного вида, навеселе и явно ищущих развлечений. Их пятеро, но кажется, что десять. Они быстро окружают нашу скамейку, и один из них, главный, в фуражке и с приподнятой толстой верхней губой, начинает приставать к Витьке с вопросами. Дело пахнет очень серьёзным мордобитием, к тому же Витька — резкий и вспыльчивый — хотя испугался не меньше моего, но уже насупился и вот-вот скажет что-то поперёк. А вокруг, на набережной — ни души, так

что, похоже, мы влипли с нашей любовью к вечерним прогулкам в рискованных местах. Убить, возможно, и не убьют, но покалечить могут крепко, тем более что боец среди нас только Витька, а я — хилый очкарик, освобождённый от «физры» ещё с 5-го класса по причине шумов в сердце (был тогда такой популярный детский диагноз). И сейчас сердце это бешено колотится где-то в конечностях, с шумом или без — я уже не знаю, но чувство полнейшей нереальности нарастает.

Тут вожак замечает гитару на моих коленях и снисходительно говорит:

— А ну, сделай нам что-нибудь...

И я делаю. Я не знаю, что он ожидал, но я, сам себе удивляясь, не забыв ни одного слова и как бы даже спокойным голосом (по крайней мере, мне так кажется), пою:

В тот вечер я не пил, не пел,
Я на неё всю смотрел,
Как смотрят дети, как смотрят дети.
Но тот, кто раньше с нею был...

Я пою «Нинку», «У тебя глаза, как нож», «За меня невеста отрыдает честно» и ещё две-три песни. Наше окружение как-то обмякает, расслабляется. Они постепенно расслаживаются вокруг на траве и на скамейке и слушают очень

тихо, не перебивая ни словом, ни резким движением. Вожак вытаскивает из внутреннего кармана куртки начатую бутылку какого-то вина и говорит, обращаясь только ко мне, уважительно:

— Будешь?

Я вежливо отказываюсь и, почувствовав момент, встаю:

— Мы пойдём...

Они совершенно спокойно говорят нам «пока» — почти все, по очереди, и мы, как бы не спеша, ретируемся сначала на освещённую аллею, затем, чуть быстрее, переходим через дорогу — к магазинам, к людным улицам. Мы идём всё быстрее и быстрее, почти бежим, и только через несколько кварталов Витька останавливается — и говорит, говорит мне что-то восторженное. А я и так знаю, что я — большой молодец. Впрочем, не только я. И даже совсем не я — Владимир Семёнович...

И всё ещё в диком восторге от неожиданного спасения и от себя самого, я останавливаюсь на перекрёстке возле одного из плакатов про перепись, на ходу придумываю нечто каламбурное, задиристо-матерное и такое же бессмысленное, как этот плакат, и тут же громко декламирую, к новому восторгу своего приятеля:

Скоро будет пере-пись!

Красота — хоть за...бись!

Стоцик

Украинская фамилия Стеценко ничего не значила, потому что и вид, и манеры у него были самые что ни на есть еврейские: чёрные-чёрные блестящие жирные кучерявые волосы, немного выпуклые глаза, полное лицо и сам — весь такой мягкий, округлый, квёлый. (Лет до одиннадцати-двенадцати мог легко расплакаться, если во дворе обидели, и даже не просто расплакаться, но и зареветь в голос.) Впрочем, по фамилии-то его никто и не называл, по имени — тоже, разве что когда бабушка Рая начинала звать его домой, то подходила к воротам соседского двора, где он в основном и околачивался, и требовательно выкрикала: «Юрка! Домой!» А мальчишки всех ближайших домов со Старой и Новой улицы звали его Стоцик, и им в то время было ещё наплевать — кто там еврей, кто украинец, а кто русский. Лишь бы человек был не подлым, не ябедничал и умел что-нибудь делать хорошо, например, играть «в ножичка». А Стоцик умел рассказывать всякие байки.

Самая главная его байка была про отца, которого ни он, ни остальные мальчишки никогда не видели. Отец его — действительно еврей, из

хорошей парикмахерской семьи, женился на русской девушке — улыбчивой студентке медучилища Ларисе, родом из пригородного села. Привёл её жить на Старую улицу к своим родителям, но вскоре после свадьбы сел в тюрьму — ни много ни мало — на пятнадцать лет: за пьяный грабёж и что-то там очень плохое ещё, подробности никто и не знал. И осталась Лариса жить с новорождённым Юркой у пожилого Якова-парикмахера и его жены в двух маленьких комнатах одноэтажного дореволюционного дома. А куда денешься? Так бы и прожила с ними все эти годы, если бы на деньги парикмахера не пристроили во дворе к глухой стене соседнего дома маленькую, но отдельную «хатынку» — кирпичный сарайчик с сенями и одной крошечной комнатёнкой, два с половиной на три метра, и не зарегистрировали этот домишко в райисполкоме, как настоящее жильё, чтобы газ туда можно было подвести для отопления. Так Стоцик и жил: целый день у бабушки с бабушкой, а вечером, когда мамка из больницы с дежурства придёт, — в этот домишко, спать. Удобства... они, в любом случае, были во дворе, разницы никакой.



В Стоцикиных же историях отец был кем-то вроде честного и благородного народного мстителя, ну как из «Неуловимых» или из «Парижских тайн» с Жаном Марэ, не хуже. И посадили отца не по делу, а подставили нехорошие друзья, и помнил Стоцик, якобы, отца именно таким вот прекрасным и благородным, и мама отца любила и ждала самозабвенно. А то, что Стоцик родился тогда, когда отец уже сидел под следствием на 1-ой

Канатной улице, мальчишки подсчитать не могли, да и не хотели.

Короче, быть бы Стоцику вечным героем летних вечерних посиделок на длинной полуразломанной деревянной лавочке, врытой в землю перед двором дома номер 25, если бы не появился прямо в этом самом доме новый сосед — тонкокостный, длинноносый, сутулый очкарик Женька.

Он был ровесником Стоцика, играл на фортепиано, писал какие-то стихи и обладал ещё большим талантом к рассказыванию всяких историй. Что, в общем-то, и не удивительно вовсе, потому что семья у него была «интеллигентская», а книжек, питающих воображение, — полные шкафы. Мало того, Женькин отец, искусствовед, имел доступ к специальной литературе, той, например, что поступала в кинотеатры для рекламы, а такая информация была редкой, совсем скудной по тем временам. Бывал он на кинофестивалях и выставках в Москве и оттуда также привозил горы интересных красочных буклетов, не только для своих лекций, но и для Женьки. Получая же контрамарки в театры и в кино на премьеры, часто брал с собой сына. Так что человеку тринадцати лет, имеющему к тому же и хорошее воображение, придумывать для дворовых мальчишек ежедневную «просто потрясающую

историю с продолжением», иногда прямо на ходу, не представляло особого труда.

Приходили из ближайших домов даже слушатели постарше: небольшого роста, но очень крепкий, с короткими набриолиненными волосами, двадцатилетний Степан, вернувшийся после армии, и, помоложе, но сильно блатной, Аркашка, также недавно вернувшийся, правда, после совсем другой двухлетней отлучки. Предлагали всем сигареты, молчали и слушали, только иногда вставляя какие-то вопросы и замечания (типа: «А что эта чувиха была сильно красивая?»), хотя остальным пацанам перебивать рассказчика не дозволялось. И это было правильно, потому что остановись Женька — мог бы и сбиться с рассказа.

А истории Женькины были хотя и разные по содержанию, но в основном представляли собой довольно удивительный сплав собственной фантазии, книг Александра Беляева, Жюль Верна, Конан Дойля, фантастических рассказов из дефицитного ежечасника «Искатель», древнегреческих мифов и сюжетов приключенческих фильмов из журналов отца, ещё не вышедших на киноэкран в их провинциальном городе (к слову сказать, и в дальнейшем не все из этих фильмов вышли в местный кинопрокат, так что источник Женькиного вдохновения во многих случаях так и остался нераскрытым).

Стоцика всё это внимание к Женьке расстраивало ужасно, а мальчишки быстро смекнули, кто чего стоит, и так как других достойных по дворовым меркам качеств, кроме устного творчества, у Стоцика было немного, отношение к нему изменилось: бить не били, но презрительное «Стоцик-Поцик» уже стало звучать довольно часто. К тому же вернувшийся из тюрьмы долгожданный отец его выглядел совсем не так, как Стоцик раньше рассказывал: приземистый, почти лысый и совсем-совсем незаметный. Мать Стоцика с ним жить не захотела, и отец поселился у какой-то своей подружки в другом конце города, почти не появляясь в старом доме своих родителей. В общем, никакой радости от его возвращения Стоцик не почувствовал, а почти позор.

Поэтому для сохранения авторитета оставалось только очень близко подружиться с Женькой и, таким образом, если не восстановить свою былую популярность, то хотя бы быть всегда рядом с главным героем, как доктор Ватсон, Санчо Панса или помощники беляевского профессора Вагнера. И вот это у него отлично получилось.

Скоро он был уже вхож в Женькин дом, точно помнил, как зовут по имени-отчеству его родителей и бабушку с дедушкой, мог взять почитать любую книжку (а читал он очень аккуратно, страниц не загибал, за едой пятен на книжных листах не сажал,

так что никогда никаких нареканий даже от сверхчувствительной к порядку Женькиной мамы не получал). И даже в тёплый туалет с настоящим унитазом мог сходить у них дома, если, мол, приспичило, пока они с Женькой играют в настольные игры в комнатах или на веранде, а это не то, что на дырке в Стоцикином дворе сидеть.

А когда и Стоцику прописали носить очки, да ещё с большими диоптриями, выглядеть он стал солиднее, чем Женька. На всех вечерних посиделках он всегда присутствовал вместе с ним, умудряясь сбегать из дому даже с «катаром верхних дыхательных путей», если таковой и отрывал его от дворовой жизни. Он помнил имена всех героев Женькиных историй и замысловатую канву рассказа, поэтому всегда был готов напомнить, чем закончилось вчерашнее приключение, ненавязчиво подсказать что-то рассказчику, если тот вдруг забыл или напугал. Всё это делалось крайне деликатно, никак не умаляя Женькиных достоинств, и, хотя уличное уважение к Стоцику не вернулось, презрение утихло.

Лет в пятнадцать Стоцик первым научился играть на шестиструнной гитаре дворовые песни, что также возвысило его и в глазах Женьки, и в глазах остальных приятелей, особенно Аркашки. Несмотря на толстые, вроде бы неуклюжие пальцы и не самый приятный голос, у Стоцика очень

хорошо получалось что-то надсадно
проникновенное, вроде того как:

И вот открываются двери
И виден кладбищенский двор.
Три тёмных сырые могилы:
Мать, сын и отец-прокурор...

(«Ну, протащил ты меня, чувак, протащил», — приговаривал после задушевного исполнения подобных песен Аркашка и втихаря поощрительно предлагал Стоцику «курнуть плана». Стоцик пробовал, а потом хотелось смеяться совершенно без удержу, и сильно-сильно болела башка.)

Еще из Стоцикиного репертуара всем нравилась другая незатейливая лирическая мелодия со словами:

Ушла, ушла любовь,
ушла, как дивный сон,
и некому её вернуть назад...

И вот она нагрязнула, эта самая любовь, просто как повальная осенняя эпидемия гриппа, и Женьку заставила забыть свои рассказы на лавочке, и Стоцика заморочила своим тяжким мучительным зудом. И это была беда. Потому, что и у Женьки, и

у Стоцика — она была одна и та же. Звали её Лида.

Женька, конечно, сразу же не преминул щегольнуть стихами: «Хорошая девочка Лида... А чем же она хороша?». Он говорил, что это из Смелякова, но Стоцик-то знал, что это из фильма «Операция «Ы»», только он первый постеснялся Лидке это сказать.

Лида появилась в их школе ещё в шестом классе, но тогда на неё никто и внимания не обратил, а вот теперь, в десятом, — началось. И поёт, и танцует, и стихи щебечет. Вроде не очень красивая, но задорная такая. Поклонники одолевают. А Женька и Стоцик, главные среди них, — вдвоём всё время возле неё. Женька, конечно, пользовался её явным предпочтением, но Стоцик опять пустил в ход свою старую навязчивую тактику: то он один провожает её из школы, когда Женька после занятий уходит в свою музыкалку, то он в гостях у неё подолгу остаётся, даже когда одноклассники уже ушли. Плохо только, что Лидкина мать явно на него косится — сомнительный кавалер...

Осенью сосед Стёпка устроился работать на масложировом комбинате, недалеко от их дома. Как-то поздно вечером в квартире парикмахера Якова раздался перепугавший всех звонок: оказалось, неожиданно пришёл Степан.

— Тётъ Рая, — сказал он Стоцикиной

бабке, — со смены я. Вам тут свежесжатого подсолнечного масла принёс, надо? Я недорого возьму, там все берут, кто помногу, а я чуток... — Он хитро улыбнулся, распахнул рабочую телогрейку и показал несколько пластмассовых фляжек, засунутых под ремень брюк. — Горячее ещё, жжётся... Давайте быстрее ёмкость какую-то, перелить.

И пока Рая доставала какую-то кастрюлю, Степан, расстёгивая пояс штанов, поведал Стоцику, который, как обычно, допоздна смотрел телевизор в квартире деда и бабы:

— Я, брат, деньги на свадьбу собираю, женюсь в октябре. Танька моя приехала — я, когда в армии был, познакомился. Всех соседей приглашаю, и вас, конечно, тоже.

Свадьбу Степан действительно закатил прямо во дворе, накрыли небогатые столы, гости собрались со всей улицы. Было довольно прохладно — пока не хватило по первой стопке самогона. Женька, Стоцик и ещё несколько пацанов из их компании тоже немного выпили под шумок, но угощение им не сильно понравилось, и они быстро сбежали на улицу, на знакомую скамейку — курить, пока никто не видит. Здесь зашёл немного хмельной, довольно обычный разговор про девчонок вообще, а потом — конкретно — про Лиду, какая она «клёвая», и Стоцик ни с того ни с